

Владислав Шамрай

МУЗЕЙ

Старик просыпался очень рано. Только-только взошло солнце. В первых лучах окрестные дома напоминали ему огромных допотопных черепах, чьи движения были внезапно остановлены смертельным течением времени. Их панцири отливали цементной серостью, и, если долго смотреть, можно увидеть их ползущие шаги. По метру в каждое солнцестояние. Потратив миллионы километров киноплёнки, в убыстренном воспроизведении можно доказать это передвижение. Но так ли это важно? Воздух потихоньку нагревался, теряя свою прозрачность. Со всех сторон начали сливаться звуки. Сначала робкий лай собак, потом колокольчики трамваев. Каблуки по брусчатке. Газетные зазывалы. Люди каждое утро растекаются по венам города, заставляя его дышать и жить.

Он перевернулся на кровати, опять ощутив ноющую боль в ноге. Вернее, в том месте, которое было ногой много лет назад. Культия с синими полосами шрамов. Он с трудом натянул аккуратно сложенные на тумбочке у кровати брюки и, опираясь на костыль, умылся, зачесал назад остатки седых волос, подошёл к окну. Утреннее небо давало ощущение бесконечности жизни. Синева меняла оттенки, и в этом водовороте, на самом краю течения, преодолевая гравитацию, двигалась едва различимая тень маленького биплана. Он летал каждое утро, чертя иероглифы в бумажном воздухе. Старик вздохнул. Ему хотелось сесть в этот маленький самолёт, выжать до скрипа все педали и рычаги и лететь вертикально вверх до тех пор, пока притяжение Земли не сравняется с рвущейся в зенит силой ротативного мотора. Именно тогда, в ту секунду, когда биплан замрёт, не способный лететь дальше, но и непадающий, дрожащий от перенапряжения всеми своими фанерными лопастями, именно тогда можно ощутить настоящее желание жить. Желание, которого ему так не хватало.

Он посмотрел на часы. Без четверти семь. Какой сегодня день? Он тщетно пытался вспомнить. Память очень подводила его в последнее время. Наверное, последствие старческого склероза. Или того хуже? Он точно знал, что зовут его Пауль. Но не смог вспомнить фамилии. «Ничего, – думал он улыбаясь. – До вечера вспомню». Приготовив овсянку на воде и гренки, он не спеша позавтракал. Еда не доставила удовольствия, а лишь немного притупила тошноту. Скоро на работу. Он был зрителем музея, который находился за стенкой от его комнаты. Вернее, это маленькое жилое помещение и было частью музейного комплекса. «Пора будить Отто», –

старик развернулся и посмотрел на небольшую кровать у дальней стены. Подковыляв к ней, он присел на небольшой стул и задумался. Сколько он себя помнил – Отто всегда жил с ним. Ребёнок-инвалид. Умственно отсталый с покрученными спазмом руками и ногами. Кто он? Его внук? Да, точно, внук. А иначе и быть не может. Пауль любил его, как любят живое создание на необитаемом острове. Они словно срослись вместе, пустив корни в этой комнате. Отто почти не разговаривал. Только «дай», «стол», «привет». На вопрос, как его зовут, говорил: «Отто... Отто... Отто...». И так раз сто подряд, словно швейная машинка Зингера. А недавно вдруг во время еды взял и сказал «дурак», что очень развеселило Пауля. Он, насколько хватало сил, заботился о нём. Кормил с ложечки, рассказывая истории о медведях, лисах, мячах и непослушных детях. Отто плевался, а он, не обращая внимания, совал ему в рот пюре из протёртых варёных овощей. Потом он стирал хозяйственным мылом все вещи, загаженные за день. Бывало, Отто орал как резаный, просто так, без причины. Его ничто не успокаивало, и надо было просто подождать. Может, полчаса, может, час. Тогда Пауль сидел и смотрел в окно. У Отто часто случались приступы судорог. В эти моменты старик просто придерживал его, чтобы не произошло травмы, а потом менял мокрую от пота и мочи одежду. На ночь он пристёгивал его к кровати специальными широкими ремнями, такие же ремни были и на креслах. Поскольку Отто двигался очень мало, приходилось подолгу делать ему массаж во избежание атрофии мышц. И так целый день, семь дней в неделю. Вечерами Пауль читал ему вслух книги. Их было мало в доме. В основном – тома по политехнике, географические атласы. Но Отто нравилась монотонность речи, и он быстро засыпал под первые главы учебника о металлах и сплавах. Пауль никогда не испытывал отвращения – это всё-таки родной человек, единственная живая душа в доме, исключая тараканов и пауков. Он любил его, как любят только старики. Слово в последний раз, эссенцией всех прошлых чувств. Он был постоянно с Отто, кроме трёх-четырёх часов в день, когда надо было идти открывать музей, принимать посетителей.

– Отто! Проснись, дорогой, – он прикоснулся к его лбу. Кожа была сухой и горячей. «Этого ещё не хватало, – озабоченно подумал Пауль. – Надо будет померить температуру. Неужели заболел?» Отто открыл глаза и заныл. Протяжно. По-щенячьи.

Пауль принёс ковшик тёплой воды и, укутав Отто полотенцем, быстро умыл его. Отто визжал, слизывая текущие по губам капельки. Потом он посадил его за стол, пристегнув ремнями к креслу, как пилота. На завтрак вареное яйцо и каша. Тёплый некрепкий чай, половину которого Отто выплюнул на скатерть. Закончив с приёмом пищи, Пауль придвинул кресло к

окну и поставил на подоконник маленькую красную деревянную лошадку. Неизвестно почему, но Отто мог часами смотреть на неё, не отрывая глаз. Пауль расстегнул ремни. Отто мог на четвереньках лазить по комнате. Какая-никакая, а всё-таки зарядка для мышц.

– Будь хорошим мальчиком, Отто. Дедушка скоро придёт.

Нужно было идти открывать музей. Он взял связку ключей и напоследок окинул взглядом комнату. Вроде всё в порядке. Оставив полуоткрытой дверь, чтобы услышать, если с Отто что произойдёт, он вышел в коридор.

Вход в музей был как раз напротив его комнаты. Деревянная выцветшая дверь с наклеенным на ней расписанием работы. Цифры совсем истёрлись. «Надо будет поменять», – подумал Пауль. Он несколько раз провернул ключ в замке. Дверь скрипнула, словно его тазобедренный сустав. Протиснувшись боком, он зашёл в пыльную и душную комнату. Собственно, одна комната и была всем музеем. Миллиарды пылинок хаотически перемешивались в узком диапазоне проникающих сквозь занавески лучей. Экспонаты были аккуратно развешаны на стенах в хронологическом порядке. В основном – фотографии и различные документы. Пауль открыл журнал посетителей, заточил два карандаша и приготовился ждать посетителей. Надо было аккуратно записать фамилии каждого. Во всём нужен порядок. А пока никого не было, Пауль взял стакан чая в рыжем подстаканнике и, отхлёбывая, подковылял к первому экспонату. Свидетельство о рождении. Выдано в Лейпциге 14 июня 1913 года. ЭТОТ человек – Пауль фон Герике. «Тоже Пауль, – улыбнулся старик. – И год рождения как у меня. Это имя, наверное, пользовалось популярностью в то время». Хоть они были одногодки и родились в одном городе, Пауль совершенно не помнил ЭТОГО человека. Он вообще почти не помнил детство и юность. Смутные картинки, платье матери в цветах, похвала отца, когда он ему помогал в мастерской. Чёрный шоколад с корицей. Простуда и вкус лакричных палочек. В то же время фон Герике проявлял недюжинные способности в школе. Вот почётные грамоты, распоряжение директора школы о получении повышенного пособия за «проявленные стремления к знаниям». Особо ему удавались естественные науки. Лётные курсы. Вот он на фотографии в окружении своих друзей. Все в смешных пилотных шапочках и чёрных куртках. Он – четвёртый слева. Машины светлые глаза. Как давно это было... Пауль тоже хорошо учился в школе. Отец говорил, что без образования трудно добиться карьеры, и потому его поступление в университет было логическим завершением прилежания и усилий. Он помнил то лето. Став студентом, он будто повзрослел на полжизни. Тишина кафедр, золото переплётов книг в библиотеке, огромные атласы. Мир был у его ног. Из

детского волшебного он превратился в логический взрослый. Из цветного – в светлый. Вся семья гордилась им. Мать, которая не знала, куда его посадить за стол. Поцелуй отца и его слеза. Он ответит своим поцелуем и своей слезой год спустя, на его похоронах...

Пауль переходил от экспоната к экспонату и, к удивлению, всё больше вспоминал и о своей жизни. Воспоминания приходили хаотически, но в этой неразберихе всё чётче ощущался пульс. Пульс его прошлого.

Его внимание привлекла маленькая фотография, сделанная переносной камерой. Худенькая девушка сидит за столом, опустив подбородок на ладошки, и смотрит в окно. Лицо прикрыто светлым локоном. Черты не разборчивы и не уловимы... Как у его Гертруды...

Гертруда. Он встретил её на втором курсе университета в Лейпциге. Тоненькая и стройная – она носила модную клетчатую юбку и говорила с лёгким баварским акцентом. У неё было совершенное лицо – настоящее золотое сечение. 1 : 1,618. Она сидела в амфитеатре аудитории на два ряда ниже, и он не мог отвести взгляд от светлых волос, собранных в аккуратный хвостик. Ни одного непослушного волоска. Потом их познакомили на студенческой вечеринке, и они до утра обсуждали Гейне. Пить пиво, учиться и любить одновременно – это дано только студентам. В молодости кажется, что любовь ниспослана свыше. Но ему просто нравился её запах, её линии и амплитуды изгибов. Ему хотелось прикоснуться к ней, а прикоснувшись – остаться навсегда. Любовь меняет физические свойства тел. Упругость губ нельзя определить соотношением массы и объёма, так и притяжение между людьми далеко не всегда зависит от массы взаимодействующих объектов. Влюблённые значительно сильнее искривляют пространство-время. И в этой сингулярности спрятана самая большая загадка человеческих отношений. Загадка их бессмертия.

Он хотел от нее десять тысяч детей. Десять тысяч его кусочков и десять тысяч её. Они разобьются на осколки, и из этих осколков соберутся пазлы следующих поколений. Но они с ней никуда не денутся. Просто перемешаются в случайных совпадениях. И, может быть, когда-то вновь появятся из хаоса и водоворота жизни, встретившись в той же аудитории естествознания Лейпцигского университета. Так думал он до того самого дня 4 декабря 1943 года, когда английская авиабомба отправила Гертруду на кладбище Зюдфридхоф, а его – в военный госпиталь. Он плохо помнил своё восстановление. Боль и морфий – от операции к операции. Сначала ступня, потом голень, потом бедро. Гангрена и нож хирурга шли по восходящей. Бывало, очнувшись, он видел, как исчезла ещё одна часть его тела, и с лукавством думал, что ещё он потеряет, когда на следующий раз откроет глаза. Впоследствии он не придёт к ней на могилу. Ему не захочется

встречаться с ней в таком месте. Он совсем не вспоминал о ней все эти годы, словно и её отрезали той снежной зимой. Не вспоминал, потому что боялся потревожить её. Боялся вызвать из тех мест, где, может быть, она снова была счастлива.

Пауль вздохнул. Посетителей не было. «Может, позже», – нога болела всё больше, заставляя думать только о ней. Пауль с силой потёр культю и посмотрел дальше. На совсем не заметном месте стояла серая брошюра издательства 1920 года. Это была работа Альфреда Гохе и Карла Биндинга «Призыв к уничтожению ничтожной жизни: её измерения и формы». Рядом стояло фото самого Гохе. Пауль вспомнил это лицо. Знаменитый психиатр и писатель. Один из основоположников расовой гигиены. Он читал несколько лекций у них на кафедре. Гохе считал, что психически больные люди не имеют права на существование, и их убийство – это полезный акт. Он утверждал, что идиоты – это лишь пустые оболочки, не способные к формированию полноценной души и совершенно не нужные обществу ни в моральном, ни в материальном смысле. Душа может развиваться и достигнуть своего «созревания» лишь в здоровом теле. «Настанет время, – говорил он. – И вы будете стесняться своего здоровья и успеха, глядя на ограниченного человека. Разве это справедливо? Настанет время, и вы заберёте у своих детей кусок хлеба и отдадите бездельнику и мерзавцу. Кто вы после этого? Сострадание – это заблуждение. Страдание больного человека можно сократить с помощью медицинского препарата. Такое ускорение смерти – это не убийство, а лишь рутинная медицинская процедура». Гохе призывал относиться к смерти как к естественному процессу. «Вы – врачи, – говорил он нам. – И у вас нет безусловной обязанности продлевать жизнь. Если того требуют обстоятельства – вы должны будете обеспечить смерть». Нельзя сказать, что среди студентов его идеи пользовались популярностью. Он был хорошим оратором и философом. Но не более того. Он ничего не делал, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Он никого не убил, никому не причинил вреда. Идеи евгеники в то время воспринимались больше как теоретически иной взгляд на устройство общества, даже больше – как политическая уловка на этапе предвыборных гонок. Многие думали, что после прихода нацистов к власти все эти идеи быстро забудутся. Ведь нельзя заставить одинаково думать почти семьдесят миллионов человек. У них в университете с долей иронии относились к основанному в Берлине институту антропологии, генетики человека и евгеники имени кайзера Вильгельма. Но Германия возрождалась, и всё чаще появлялись мысли, что здоровье индивида значительно менее значимо, чем здоровье нации. Как велика разница между телом человека и телом нации? Но одно дело слова, и совсем другое – воплощение. Одинакова ли ответственность призывающего к действию и

исполняющего призыв? Наверное, да. Это был именно тот случай, когда теория ненависти, возникшая во времена республики, проросшая на унижительном для немцев Версальском мире, приобрела реальные очертания в эпоху диктатуры. Настало время, и призыв исполнили. Это был всего один человек. Канцлер Германии. Адольф Гитлер.

В 1933 году был принят закон о профилактике рождения генетически нездорового потомства. В то время такие законы были во многих странах. Наряду со стерилизацией психически больных людей, он предусматривал кастрацию насильников и растлителей малолетних. Несмотря на его радикальность, население поддерживало этот закон. Начиная с 1937 года преступников и постоянных правонарушителей систематически направляли в концлагеря. За этим последовали приказы органам соцобеспечения арестовывать также бродяг, алкоголиков, тунеядцев. Разве это не правильно? Нация работала до седьмого пота, и всяческие паразиты не должны были ей мешать. Он помнил слова министра внутренних дел Гюта, что «наступит тот час, когда на всём свете не будет ни психически больных, ни слабоумных, ни в больницах, ни вне их. Как будет прекрасно жить в таком мире, в котором и всё остальное будет так же совершенно...».

Пауль удивлялся, как, проходя дальше и рассматривая экспонаты, он вспоминал и свою жизнь из тумана памяти. Он получил степень доктора психиатрии и стал работать в университетской клинике. Его специализацией была детская и судебная психиатрия. Он был ассистентом профессора Вернера Кателя, властного, но не слишком далёкого человека. Работы было много, и он даже написал несколько статей, пользовавшихся популярностью в узких научных кругах. Но скоро всё изменилось. Психиатрия стала таким же оружием, как и фугасные бомбы.

Пауль всматривался в полустёртые фотографии. Вот собрание какой-то комиссии. ЭТОТ человек со строгим лицом сидит за секретарским столом. Посреди комнаты – стол. На нём лежит замотанный в смирительную рубашку человек. Судя по размерам тела, это ребенок. Лица не видно. Вокруг столпились люди в белых халатах. Сам Карл Брандт, личный доктор Гитлера, здесь. Зачем они собрались? И вдруг перед его глазами возникла фамилия. Кнауэр. Точно, Кнауэр! Это была известная история в Лейпциге. Семья Кнауэров обратилась лично к Гитлеру для разрешения умертвить их малолетнего сына, родившегося глубоким инвалидом. Их просьба была удовлетворена специальным разрешением. Это была первая эвтаназия. Первая! Дальше последовал указ Гитлера от 1 сентября 1939 года, который позволял умертвить ребёнка после постановки «правильного» диагноза, программа Т-4, комиссии по эвтаназии душевно больных и людей с физическими недостатками. Немецкая ассоциация детской и подростковой

психиатрии приняла в Вене необходимость определять ценность жизни каждого ребёнка в соответствии с экономическими критериями. Жизнь или пять дойчмарок в день. Кто не соответствовал этим критериям – отправлялся на эвтаназию. Акушеры должны были сообщать обо всех случаях рождения детей с пороками развития. Умерщвления маскировались идеей избавления от боли и страданий. Именно умерщвления – самое правильное слово. Позже программы расширились на более старших детей и взрослых. Дальше пошли больные люди, инвалиды. Психиатры придумывали новые диагнозы, которые должны были соответствовать наказанию. Чего только стоило «хроническое нежелание работать». Производилось уничтожение всех, кто не способен продуктивно работать, а не только лишённых рассудка. Сотни тысяч жертв! Газовые камеры. Диеты смерти. Лагеря ужасов: Берген-Белсен, Треблинка, Аушвиц-Биркенау, Белжец. Истоки холокоста. И всё это началось из-за одного беззащитного мальчика – Кнауэра. И ЭТОТ человек был там. Пусть и простым секретарём, но был...

Пауль ни в коем случае не оправдывал программу Т-4. По его глубокому убеждению, можно было заменить эвтаназию различными формами изоляции – он не раз упоминал об этом в своих статьях и докладах. Но перед его глазами была история его соседей – Вернеров. Они имели дочь, глубочайшего инвалида. Она не могла говорить, почти не ходила. Только ела и испражнялась. Вернеры потратили полжизни на уход за ней, уйму денег – на консультацию лучших специалистов, санатории и реабилитационные программы. Она умерла, а они так и остались одинокими и несчастными стариками. Он помнил их беспомощность в последние годы. Они не могли приготовить себе еду и, в итоге, скончались от голода и невозможности себя обслужить в своём доме. Их нашли спустя месяц, выломав двери. Полицейский пристав говорил потом, что, войдя в комнату, словно побывал в аду. А что, если бы их дочь попала под программу? Она погибла бы в стенах одного из множества заведений. Родители получили бы справку, что их ребёнок умер от какой-нибудь болезни. Это тяжело, но у них было бы время родить здоровых детей, дать им шанс на жизнь и встретить старость в доме, наполненном любящими голосами. Законы не позволяли насильно забрать ребёнка из семьи. Потому создавались фальшивые центры по уходу за детьми. Родители никогда не узнавали об истинных причинах смерти. Или просто не хотели знать? Как бы то ни было, под давлением общественности и католической церкви Гитлер закрыл программы эвтаназии в августе 1941 года. Узнал ли он о масштабах смертей, или были дела поважнее на фронте? Кто знает...

Пауль почувствовал слабость. Его тошнило, и нога разболелась ещё больше. Далекое не все поддерживали идеи партии. И его, и многих врачей в

то время просто использовали. Не все были посвящены в программу. Когда создавались списки больных и их диагнозов, они думали, что это списки пригодных к трудовой и воинской повинности. За многие годы привыкаешь к своим пациентам. Ведь только в психиатрии лечение растягивается порой на всю жизнь. Было желание помочь, и многим они просто преувеличивали степень недееспособности, пытаюсь спасти. Но это и послужило основой приговора. Путём в газовые камеры. Особо отвратительна была материальная заинтересованность его коллег. Все работающие в стерилизациях и обслуживании газовых камер получали повышенное жалование. Также они могли забрать себе продуктовые карточки отправленных на казнь. Золотые зубы сдавались под особый отчёт, и из этого тоже получали процент. Между смертью пациента и отправкой уведомления его родственникам проходило определённое время. И именно в этом промежутке семья получала счета за лечение. Циничная оплата произошедшей смерти. Он не раз поднимал этот вопрос перед своими коллегами. Горячился в кабинетах и с трибуны. Но кому это было нужно? «Пауль, – говорил ему его шеф Катель. – Даже Гитлер не знает многого, что здесь происходит. Забудь и ты». И он забыл. Был ли шанс тогда поступить по-другому? Наверное, был. Но ему была ближе его жизнь, его работа, его семья.

Пауль остановился посреди комнаты и огляделся вокруг. Закружилась голова, и ему пришлось сделать усилие, чтобы не упасть. Кто это сделал? Как можно было создавать музей ЭТОГО человека? Пусть он и не участвовал прямо в казнях. Пусть он был хорошим учёным и человеком, у которого не было ни воли, ни храбрости поступать по-другому. Но разве это оправдывало его? Неужели смерти и пытки стольких людей могут оправдать заботой о нации? Далеко не всегда. Были и другие причины. Самоосознанность, соизмеримая с Богом. Даже не с Богом. С Антибогом. Здоровье общества, материальная необходимость – лишь жалкие попытки оправдаться. Оправдаться перед собой. Скрыть за пустой болтовнёй свою жажду. Жажду убивать. Жажду, которая не утоляется и не проходит. Жажду, более сильную, чем все остальные. Власти, денег, любви. Придавленная глыбами закона и морали. Спрятанная под меценатством и благотворительностью. Растоптанная любовью. Порой, разрывая все эти узы, она вырывается на свободу, сметая всё на своём пути. Ведь ненависть – одно из самых искренних чувств. В ней нету притворства и противоречий. Нету полутонов. Вот почему люди так безоговорочно отдаются ей. Верят ей. Верят своей ненависти...

Почти конец экспозиции. Почти конец жизни. ЭТОТ человек провёл всю войну и послевоенные годы в поисках лекарства от безумия. Эликсира разума. Он лечил сошедших с ума офицеров Восточного фронта,

консультировал потерявших память при бомбёжках. Не участвуя в нацистских программах, он был полностью оправдан в 1947 году. Его книги о психоорганическом поражении мозга легли в основу некоторых направлений психиатрии. Неизменный Rührei из трёх яиц по утрам. Короткие пешие прогулки. Под конец жизни он немало времени посвятил судебной психиатрии, составляя личностные карты потенциальных преступников, чем помог во многих полицейских делах. Он умер в своём кабинете тёплым августовским утром 1981 года от сердечного приступа. Его смерть была засвидетельствована дежурным врачом Клаусом Шульце. В отсутствие родственников и близких, он был похоронен в тот же день на муниципальном кладбище.

Вот и конец. Но Пауля не покидало щемящее чувство дежавю. Возле свидетельства о смерти изображением вниз лежала маленькая фотография. «Непорядок», – подумал Пауль. Он перевернул её и посмотрел на два улыбающихся лица. И чем дольше он всматривался, тем яснее становился весь смысл происходящего. Словно электрический ток сковал его тело и сознание. ЭТОТ человек вместе с необычайно красивой светловолосой девушкой смотрят прямо в объектив чуть насмешливо, словно смеются над всем миром, над временем. Надпись: «Вместе навсегда!». Это была Гертруда! Его Гертруда. И он вспомнил! Вспомнил тот весенний день, когда они сфотографировались возле церкви Святого Фомы – у могилы Иоганна Себастьяна Баха. Вместе навсегда – это они втроём. Их любовь и его музыка. Пауль подошёл к завешенному в рост человека старинному зеркалу и с силой сдёрнул серую простыню. Оттуда, с иронией и высокомерием, преодолевая боль и старость, в потрёпанных галифе и выстиранной коричневой рубашке, опираясь на деревянный костыль, на него смотрел профессор психиатрии Лейпцигского университета Пауль фон Герике! Он всё понял. Это был ЕГО музей! Музей всей ЕГО жизни! Что это? Зачем всё это здесь? Пауль взял журнал посещений и перелистал страницы. В толстенной книге не было ни одной записи! Боже! Сколько он здесь? Месяц? Год? Миллион лет? Боже! А можно ли здесь взывать к Богу? Пот катился по его спине, приклеивая намертво рубашку к коже. Он каждый день вспоминал и каждый день забывал. Открывая музей, он снова начинал свою жизнь, а закрывая его, не заканчивал – просто переходил в начало. Это наказание или урок? Помолиться или покаяться? Но он не хотел ни того, ни другого. Всю жизнь он пытался забыть. Забыть всё, что случилось. Но и это оказалось не так просто. Даже забыв, нельзя проснуться другим человеком. Нельзя изменить себя, однажды не вспомнив своё имя. Ведь память может жить отдельно. В мечтах, фотографиях, переживаниях. В действиях, наконец. Ваша память

может жить в памяти других людей. И потому, стирая ластиком времени свои переживания и поступки, вы просто обманываете себя.

Вдруг он услышал сзади царапание по паркету и обернулся. Маленький Отто стоял на четвереньках и мотал головой из стороны в сторону. Пауль быстро подковылял к нему.

– Что ты здесь делаешь, малыш? – положив костыль, он сел возле него на пол. Он погладил его по непослушным светлым волосам, но Отто капризно одёрнул голову.

– К... к... к... к... к, – мычал он.

Пауль пристально посмотрел на него и, неожиданно даже для себя самого, спросил:

– Как твоя фамилия, Отто?

– К... к... к... к... к, – повторял инвалид, брызгая слюной. – К... к... к... к... к.

– Как твоя фамилия? Отвечай! – Пауль почти кричал. Он сжал голову Отто ладонями и, смотря ему прямо в глаза, повторил медленно и отдельно:

– Как... твоя... фамилия...?

– К... к... к... к... Кнауэр...

Прошло минут пять. Пять минут тишины. Пять минут бесконечности. Обняв одной рукой худенькое тельце инвалида и, преодолевая невыносимую боль в ноге, Пауль, тяжело опираясь на костыль, подковылял к окну. Там он грузно упал в клетчатое кресло. Отто пытался вырваться, тщетно напрягая свои тонкие мышцы.

– Ух! Ух! – кричал он. Липкая струйка слюны потекла из уголка рта. Он извернулся и укусил Пауля за палец. Но тот только поморщился и лишь крепче прижал его обеими руками к груди. Постепенно Отто успокоился и, отвернув голову набок, исподлобья смотрел в окно.

– Прости меня, – прошептал старик, выдыхая ему в затылок. – Прости...

Но Отто не слышал. Он внезапно вытянул руку вперёд и начал раскачиваться из стороны в сторону, что говорило о крайней степени заинтересованности. Там, у самого начала неба, начиналась гроза. Словно огромный цеппелин, набирая скорость, она раздвигала пространство своими свинцовыми боками. Воздух наполнился шумом работающих моторов. Солнечные лучи пробивались сзади сквозь неправильную линию туч, и казалось, что цеппелин горит, теряя водород. Вся его конструкция дрожала, сдерживая внутренне желание взорваться. Вспышки молний лишь усиливали витающее в воздухе предчувствие катастрофы. Горизонт постепенно

размывался, по нескольку диоптрий в минуту. Там шёл дождь. Всё замирало и замедлялось. И лишь на немыслимой высоте, на краю событий, зигзагом сквозь стропила дождя, в щель между синим и чёрным, уходила на форсаже тень маленького биплана.